

КУТУЗОВСКИЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ РАЗЪЕЗД

Для меня всегда было загадкой, почему тут такой сквозняк. Буквально переезжаешь мост, как тебя начинает пробирать холод и ветер сшибает с ног.

— Ну, это же хорошо. Значит, воздух чище, — убеждает меня мама.

Она вообще считает, что жить на Кутузовском — это какая-то невероятная удача. Для нее это как Беверли-Хиллз и Сен-Жермен-де-Пре вместе взятые. Фетиш престижа и успеха, за который надо держаться во что бы то ни стало. К тому же она живет здесь уже больше пятидесяти лет. “Привычка свыше нам дана, замена счастию она”. Один и тот же вид из окон на шпиль гостиницы “Украина”, которая давно уже и не “Украина”, а *Raddisson Moscow Palace*. Один и тот же маршрут троллейбуса № 2, который с прошлого года поменяли на автобус. В час пик намаешься ждать на ветру...

Но за столько лет я, конечно, привык к имперской прохладе, к этой звенящей тишине и пустоте перед тем, как ее прорежет насквозь президентский кортеж, несущий

щийся по Кутузовскому со сверхзвуковой скоростью, как по оккупированной территории.

Это действительно особая территория на карте Москвы. Державное предместье, по которому со сталинских времен проходила главная правительственная трасса, ведущая напрямик в Кремль. Ни хороших ресторанов, ни нормальных магазинов тут с самого начала никогда не было. Они как-то тут не приживались. На Кутузовском не полагается жить. Тут надо все время стремиться или вперед, или назад: в Кремль или на Рублевку. Третьего не дано. Стеклообразные небоскребы Калининского, которые угадываются вдали, выросли только к концу 1960-х — запоздалый оммаж эпохе оттепели и архитектурных утопий, вдохновивших Хрущева и его сподвижников на уничтожение и перестройку старого Арбата. А Кутузовский со своими могучими фасадами в мраморе и граните и нереальными по тогдашним градостроительным меркам четырехметровыми потолками был задуман как выставка достижений предшествующей эпохи. Задумал его Сталин, но поскольку строили его при Хрущеве, то он получился почему-то с сильным украинским акцентом: тут и памятник Тарасу Шевченко, и бульвар Леси Украинки, и Киевский вокзал...

Я застал те времена, когда в гастрономе “Украины” торговали кругами жирной украинской колбасы, а русские продавщицы были одеты в нарядные вышиванки. Как потом мне объясняла бабушка, которая знала все, Хрущев хотел великой дружбы и любви с Украиной: вначале отвалил им Крым, потом поставил памятник Шевченко, а теперь все должны есть эту колбасу и “Паляницю”. Хлеб хрустел и крошился под ножом. Его лучше было отламывать большими кусками, но бабушка не любила беспорядок на кухне. Колбаса призывно скворчала на сковородке и пахла чесноком, томясь в собственном

жиру. Употреблять ее в сыром виде у нас дома не полагалось. Вообще, весь этот малороссийский декор, напоминавший провинциальные постановки каких-нибудь “Черевичек”, воспринимался как нечто бутафорское, не имевшее непосредственного отношения к государственной твердыни Кутузовского. Ему гораздо больше подходил ассоциативный ряд, связанный с войной 1812 года, заложенный уже в самом имени знаменитого фельдмаршала, в непосредственной близости Поклонной горы, где мы сдавали зачеты по физкультуре, а также в присутствии панорамы “Бородинская битва”.

На мой вкус, панорама было довольно странным сооружением. Учеников младших классов из окрестных школ там принимали в пионеры, а потом в качестве бонуса водили смотреть на муляжи трупов и обгорелые знамена. Считалось, что их вид поднимает патриотический дух, но на меня гораздо большее впечатление произвела первая серия широкоформатной цветной картины “Война и мир” С. Бондарчука. Там тоже были знамена и трупы, но все-таки их сильно разнообразили сцены из старинной, дворянской жизни, всякие охоты и балы, снятые с невиданным размахом и мощью. Мне это казалось вершиной мирового кинематографа, хотя некоторое странное несоответствие возраста исполнителей своим героям бросалось в глаза. Ну разве этому Пьеру может быть двадцать четыре года, думал я, глядя на полноватого стриженного Бондарчука в круглых очках. И неужели эта немолодая дама в жемчугах и есть та самая умопомрачительная “голая” красавица Элен, от которой все в романе сходили с ума? Но камера неспешно плыла по бальным и оперным залам, врывается на зеленый простор, с высоты птичьего полета следила за движением разных человеческих множеств на Бородинском поле, чтобы потом устремиться еще дальше в какие-то

заоблачные выси, откуда доносился бархатный баритон Сергея Федоровича Бондарчука, озвучивавшего какие-то вечные истины классика. Ни одну из этих истин сейчас не вспомнить, но кадры, увиденные впервые на экране кинотеатра “Россия”, врезались в память навсегда.

Теперь я понимаю, что мое отрочество и ранняя юность пришлось на ностальгическую эпоху “ретро”. В почете была разнокалиберная классика, которую без конца экранизировали и инсценировали на разный лад. Во всех президиумах восседали почтенные старцы, которые постоянно друг друга награждали разными орденами и медалями. Любимый формат — юбилейный вечер. Любимый праздник — День Победы. На самом деле эти старые люди были не такими уж старыми. Помню, как по телевизору Константин Симонов с модным бобриком и еле заметными седыми усиками рассуждал, приятно картавя, что людям, прошедшим войну, сейчас не больше шестидесяти. То есть они в самом расцвете, хорохорился автор “Жди меня”, а по мне, конечно, это была такая пенсия и древность. Впрочем, в их морщинах и рассказах иногда просвечивало что-то человеческое. Комсомольские активисты мне не нравились совсем. В их невыносимо дружном пении песен Пахмутовой и Добронравова, в этой непрерывной пропагандистской брехне про БАМ и Вьетнам была сосредоточена вся советская фальшь и пошлость. Кто-то бежал от них в академические штудии Гельдерина и Клейста. Кто-то выбирал себе судьбу диссидента с дворницкой в придачу.

Я же уходил в кинотеатр “Иллюзион” или в его филиал клуб “Красные Текстильщики”, располагавшийся напротив шоколадной фабрики “Красный Октябрь”. От Кутузовского туда надо было добираться на троллейбусе № 2 или автобусе № 89 до библиотеки Ленина, потом

пересаживаться на троллейбус, который ехал через Большой Каменный мост к кинотеатру “Ударник”, а там уже рукой подать до красного кирпичного здания. Там в фойе висели черно-белые портреты Ингрид Бергман и Вивьен Ли, Кларка Гейбла и Генри Фонды, Марлона Брандо и Бэтт Дэвис. Их лица, их судьбы, их фильмы и были содержанием моей настоящей жизни, подменявшей скучную реальность сияющим иллюзионом, куда я устремлялся со всем безрассудством юности. Ради этих сеансов счастья я готов был часами стоять на морозе в каких-то нескончаемых очередях, отмечаться на перекличках, сбегать с уроков, рискуя нарваться на большие неприятности. Нас было много в этом обществе тайных и явных киноманов, которые особенно активизировались во время московского кинофестиваля. Их легко было узнать по очкам, как правило, с сильной диоптрией, лихорадочному, безумному блеску в глазах и сбивчивой речи, в которой то и дело мелькали родные имена Рене, Трюффо, Годара, Висконти. Это было эсперанто для посвященных, язык богов, а точнее, их служителей, к которым мы себя причисляли.

Верховными отправителями культа считались лекторы “Иллюзиона”. Они выступали перед фильмами. Я их всех помню. Степенный, с профессорской бородкой, Владимир Дмитриев, госфильмофондовый начальник, хранитель запретных богатств фестиваля “Белые Столбы”. Утонченный и нервный Владимир Утилов, адвокат вышедших в тираж западных звезд, специалист по фильмам и психическим недугам Вивьен Ли. Ироничный Валерий Басенко, умевший в двух-трех фразах убийственно точно сформулировать особенности авторского стиля любого из классиков мирового экрана. В том, что они нам рассказывали, не было ни капли лекторского занудства или тени идеологических штампов. Великое кино

дарило иллюзию свободы, интеллектуальной игры, жизни “поверх барьеров”, без железного занавеса. И не только нам, зрителям, но и им, умудренным профессионалам, культуртрегерам, просветителям в подлинном смысле этого слова.

А потом, когда сеанс заканчивался и мы выходили из “Красных Текстильщиков” на Болотную набережную, воздух был пропитан какой-то приторной, карамельной сладостью. Это шоколадная фабрика “Красный Октябрь”, тогда дымившая всеми трубами на соседнем берегу, производила свой “сладкий” и, с точки зрения экологических норм, полагаю, не слишком полезный выброс. Но разве кто-нибудь думал тогда об экологии? Мы думали о “Виридиане” Бунюэля, или о Жанне Моро в “Любовниках”, или о Дирке Богарде в “Слуге”. Насколько же это было важнее, чем вся мышинная возня с оценками, экзаменами, переаттестациями. И не то чтобы я демонстративно игнорировал их. Вовсе нет! Я учился в престижной английской школе, отчаянно скучал на обязательных собраниях, в качестве общественной нагрузки рисовал какие-то стенгазеты и участвовал в конкурсах чтецов, но у меня были *они*. Они! Мои звезды, мои дивы, мои герои. Помню, как в первый год после школы, когда я не поступил в институт, мама, чтобы меня утешить, купила сразу три абонементов на ретроспективы фильмов Греты Гарбо в “Иллюзионе”, и я смотрел их два месяца подряд. Это было счастье!

А еще книги. В нашем доме на первом этаже располагался магазин издательства “Советская Россия”. Среди моря макулатуры, которой были забиты все полки под самый потолок, одиноким утесом возвышался стеллаж, где были выставлены книжки по подписке. Томас Манн, Диккенс, Чехов. Их благородные корешки сводили меня с ума. Однажды папа притащил домой собрание из девяти

ти темно-вишневых томов сочинений Маяковского. Тыча в карандашный портрет Лили Брик, он сказал мне: “Она живет в нашем доме”. Какая-то грустноглазая женщина с небрежной прической смотрела на меня из сумрака штрихов и теней, набросанных собственноручно Владимиром Владимировичем Маяковским в приступе эпохальной любви. Много лет спустя я увижу этот портрет на стене гостиной Василия Васильевича и Инны Юлиусовны Катанян, тоже наших соседей.

Лилю я несколько раз встречал на улице. Ее всегда кто-нибудь вел под локоть. Чаще — старик в пижонской жокейской кепочке, смотревший по сторонам с вполне еще бодрым мужским любопытством. Это был Василий Абгарович Катанян, последний муж и спутник ее поздних лет. Обычно для выхода на Кутузовский Лиля была размалевана как клоун Олег Попов — с каким-то невероятным вишневым румянцем в пол-лица, бордовым ярким ртом и нарисованными бровями прямо по напудренному лбу. Я запомнил, что на ней всегда был яркий шелковый платок *Hermes*, из-под которого выглядывала задорная рыжая косичка, какие носили в начальной школе. Зимой она была закутана в какие-то баснословные меха, в которых утопала, как в сугробе. Чаще всего это была необъятная шуба насыщенного ярко-зеленого, травяного цвета. “Крашенная зеленая норка, — авторитетно заметила мама. — Наверняка из Парижа”. Такой шубы на Кутузовском больше ни у кого не было.

Однажды я стоял в очереди в кассу гастронома “Украина”, когда Катанян пришел с Лилей, заботливо посадил ее на мраморный подоконник, а сам пошел пробовать сырки и кефир. Вся очередь, в основном состоящая из женщин среднего возраста и старше, растерянно замерла при виде старухи, словно явившейся в гриме и костюме из оперы “Пиковая дама”. Лиля делала вид, что не

замечает этих взглядов. Под их прицелом она провела всю жизнь, и, похоже, ей действительно было плевать, кто и что о ней подумает. Уставившись в одну точку, она что-то тихо насвистывала, покачивая ногой в черном лаковом сапоге. Когда Катанян вернулся, голосом маленькой девочки потребовала себе сырок в шоколадной глазури и, развернув его хищными пальцами с алым маникюром, стала быстро-быстро уплетать, словно белочка орехи. Кажется, она даже почти пропела от удовольствия: “Какой свежий!” Вся очередь смотрела, как жует Лилля Брик. “Из-за этой еврейки стрелялся Маяковский”, — кто-то тихо произнес за спиной, и я буквально кожей почувствовал ожог ненависти.

В “Советской России”, кроме подписных изданий, был букинистический отдел, куда я время от времени наведывался, как в буфет за запретным вареньем. Именно оттуда я извлек всех своих “Виконтов де Бражелонов” в сиреневых переплетах и прекрасный неподъемный том “Мертвых душ” с иллюстрациями Боклевского. А когда имена Ива Монтана и Симоны Синьоре были уже под запретом из-за их недружественных антисоветских выступлений по поводу пражских событий 1968 года, я там обнаружил книгу мемуаров Монтана “Солнцем полна голова”, изданную со стихами Жака Превера и чудесной графикой Бернарда Бюффе.

Библиотечная душа, я был записан сразу в две районные библиотеки — им. Софьи Перовской на набережной Т. Шевченко и им. Алексея Толстого на Дорогомиловской улице. Однажды вместо подготовки к экзаменам, о которой я гордо объявил всем, отправляясь в библиотеку, я читал там несколько часов подряд “Дом на набережной” Ю. Трифонова. За окном летний дождь то начинался, то прекращался, то снова начинал хлестать с особенной силой. Люди бежали по лужам, боясь

не успеть на автобус, а я все читал и читал, не в силах оторваться от номера “Дружбы народов”, и только боялся, что библиотека закроется, а я так и не узнаю, чем закончится эта история. Стоит ли говорить, что учебники за это время я так ни разу и не открыл.

Вообще о семидесятых, в противовес оттепельным шестидесятым, принято говорить с оттенком высокомерного презрения: застой, Афганистан, ссылка Сахарова, изгнание Солженицына, повсеместное закручивание гаек, разгон “Метрополя”, какой-то общий упадок в умах и нравах. А как символ всего этого — черные правительственные ЗИЛы, везущие старцев всё по тому же Кутузовскому проспекту. Тогда, впрочем, скорости были другие, чем теперь. Я даже успел однажды разглядеть Леонида Ильича Брежнева в профиль, сидевшего вопреки всем законам государственной безопасности рядом с водителем. Жил он, как известно, неподалеку от нас, в доме № 26, чей фасад выходил на Кутузовский, а тыльная часть смотрела на Москву-реку, еще не загроможденную небоскребами Сити, и крутой склон, на котором сейчас стоит Театр П.Н. Фоменко, выглядел вполне идиллически. Летом там даже можно было загорать, лежа с книжкой и дыша пряным разнотравьем, а зимой — кататься почти по отвесной ледяной горе. О существовании сноубордов еще никто не подозревал, а выпуск пластиковых ледянок наша легкая промышленность не успела наладить, поэтому довольствоваться приходилось старыми санками или просто куском картона. Последний был даже предпочтительнее. Забавная деталь: на непосредственную близость с местом прописки генерального секретаря ЦК КПСС указывал чисто вычищенный кусок набережной как раз в том месте, где находился брежневский дом. Всюду сугробы и лужи, а тут девственный асфальт, который посыпали песком ежедневно,

на тот случай, если дорогому Леониду Ильичу вдруг взбредет в голову здесь прогуляться. Но, кажется, такая отчаянная мысль его ни разу не посетила. Старожилы рассказывают, что за все время его жизни на Кутузовском генсека видели лишь однажды в овощном. Якобы он зашел туда поинтересовался: какие есть в ассортименте орехи? Орехов, как нетрудно догадаться, не было никаких — это же Кутузовский! Но это обстоятельство Брежнева не удивило и не опечалило. Покупать он все равно ничего не собирался, а интерес у него был явно академического свойства. Стоит ли говорить, что на следующее утро все прилавки были буквально завалены отборным миндалем, фундуком, лесными и грецкими орехами. Но больше Леонид Ильич туда не приезжал.

А вот его жену Викторию Петровну, тихую сановную даму, моя мама лицезрела более или менее регулярно в парикмахерском салоне гостиницы “Украина”, когда та приходила делать укладку перед государственными визитами. Однажды накануне приезда президента Никсона ее не пустили в гостиницу. “Женщина, вам сюда не положено”, — отрезал охранник, бдительно охранявший подступы к закрытому интуристовскому объекту. Неприятельный вид жены Брежнева и ее неуверенный тон не внушали доверия. Какое-то время Виктория Петровна промаялась около вертящейся двери в надежде, что кто-нибудь ее узнает и проведет, а потом вернулась к своему персональному водителю одалживать две копейки (двушку!) позвонить из автомата мастеру. Не могла же она остаться без прически накануне президентского визита!

Меня в “Украину” пускали всегда. И в парикмахерскую, и в книжный киоск, где две старушки, похожие друг на друга, как сестры-близнецы, торговали дороги-

ми глянцевыми альбомами про иконы и музеи Кремля на английском языке. Иногда там попадались и качественные книжки по искусству на русском. Как правило, они стоили вполне осязаемые деньги, сильно превышавшие мой карманный бюджет. Но каким-то загадочным образом родители всегда узнавали, что мне больше всего хочется, и покупали эти альбомы без всяких моих просьб и напоминаний. Много позднее, когда книжный киоск в “Украине” ликвидировали, я случайно встретил одну из старушек на улице. Она меня сразу узнала: “Ваш папа всегда к нам заходил после вас и обязательно спрашивал, какие книжки вы смотрели, а потом их тут же покупал, даже не глядя. Только просил никогда об этом вам не говорить. Но теперь-то уже, наверное, можно?”

В парикмахерской на втором этаже царил дух советской цирюльни. Иностранцы шарахались от шипающего в нос запаха “Шипра” и робели при виде суровых дам в белых халатах, которые, разумеется, не знали ни одного иностранного языка, а на русском владели немногими общеизвестными терминами, которых им хватало для карьеры в интуристовской “Украине”: “бокс”, “полубокс”, “полечка” и стрижка “молодежная”. К этому небогатому ассортименту еще прилагался вопрос: “Височки какие будем делать, прямые или косые?”

Несмотря на то, что у каждой из них была своя непростая женская судьба, стригли они более или менее одинаково, то есть плохо. Во время моих походов в парикмахерскую “Украины” меня не покидало ощущение собственного бесправия, пришибленности и какого-то заведомого уродства, на которое я сам себя обрекаю, когда сажусь к ним в кресло. Эти женщины в белых халатах умели вызвать трепет и даже чувство вины. “У тебя очень жесткий волос”, — говорили они тоном выговора, не

терпящим обжалования, а после этого так тяжело вздыхали, будто за мою стрижку их ждал штраф или, может быть, даже увольнение. Единственным утешением в моих страданиях служило то, что аналогичной процедуре у меня на глазах подвергались не только бесправные иностранцы, но и великий Чапаев — актер Борис Бабочкин, и кумир шестидесятников поэт Евгений Евтушенко, и звездный фигурист Александр Горшков. Все они обретались по соседству все в той же “Украине”, только в ее жилых секциях, отведенных под высокопоставленные квартиры. Конечно, с ними парикмахерши вели себя чуть любезнее, но результат их трудов был таким же, на мой взгляд, ужасным. В какой-то момент одна из мастериц, не стерпев моей несчастной физиономии, недовольно фыркнула: “В следующий раз иди в «Чародейку»”. Я и пошел.

В брежневском доме № 26 располагался Дом пионеров, куда я записался на занятия изостудии. Нашего педагога звали Семен Семенович. Когда он хотел похвалить мои скромные художества, то говорил задумчиво и как бы даже с восхищением: “Посмотрите, как он заливает!”

— Ну, конечно, рисуют только Рембрандт и сам Семен Семенович, — обижался папа, — а Сережа у нас только “заливает”...

Почему-то он искренне считал, что у меня есть талант художника. Его убедили в этом рисунки, на которых я в пять лет, наглядевшись западных журналов, изобразил убийство президента Кеннеди. Эту страшенькую графику долгое время демонстрировали родне и гостям в качестве наглядной иллюстрации моей несомненной одаренности. Больше этих детских каракулей, конечно, всех удивлял серьезный подход к теме: президентский лимузин был четко синий, костюм Дже-

ки — розовый, а половина головы Кеннеди закрашена красным.

— Это кровь, — деловито объяснял я собравшимся за столом, — а это пули, несущиеся из книжного склада, где сидит Освальд.

Гости теряли дар речи. Папа наслаждался произведенным эффектом. Сын — гений. Это то, чего как раз ему не хватало для полноты счастья, в придачу к его черной “Волге”, квартире на Кутузовском и обожаемой жене.

Но по мере своего взросления я все чаще ловил на себе его разочарованный и грустный взгляд. Я рос неспортивным. Учился средне, не играл в шахматы, не плавал кролем, не мог подобрать на слух ни одну мелодию на пианино. То есть все то, что у него всегда получалось легко и даже как бы совсем без усилия. Но самое ужасное, меня совсем не интересовали машины и разные технические прибабасы, которые папа обожал. “Ты представляешь, Сережа за все время нашей поездки в Ленинград ни разу не попросил у меня руль!” — говорил он маме почти с обидой. Ему, генеральскому сыну, с двенадцати лет профессионально водившему отцовский “паккард”, такая моя индифферентность в этих вопросах была непонятна и даже подозрительна. К тому же я все время изводил его идиотскими вопросами, которые на самом деле были не такими уж идиотскими. Например: когда, наконец, захоронят Ленина? Или: кто из большевиков персонально ответственен за расстрел царской семьи? Почему сбежала в Америку Светлана Аллилуева? Чем однопартийная система лучше многопартийной? И почему медицинские заведения 4-го Управления настолько лучше обычных районных поликлиник? Где равенство, справедливость, социальная ответственность? — вопрошал я, изображая Демулена с Кутузовского проспекта. По воспоминаниям мамы, после прогулок со мной по набереж-

ной мимо Бадаевского пивоваренного завода и обратно папа неизменно приходил с сердитым лицом и в подавленном настроении. Причина, конечно, была во мне. Что-то со мною было не так. Мои взгляды, интересы не только не совпадали с его собственными, но в них присутствовало что-то откровенно враждебное, опасное, непонятно откуда взявшееся, не объяснимое ничьим влиянием, никакими “вражьими” голосами. И единственным оправданием моего существования, как и плохих отметок, были мои рисунки. “Зато он рисует”, — с надеждой говорил папа. Именно в них он видел мое будущее художника-иллюстратора детских книжек. Пусть скромное, но достойное, приличное.

— Почему нет? — говорил он, протягивая мою очередную акварель маме, в надежде услышать слова одобрения и похвалы.

— Да, совсем неплохо. Кстати, говорят, иллюстраторы неплохо зарабатывают, — успокаивала она себя и его.

Это, конечно, была не та перспектива, которая подходила их единственному сыну, но все-таки это лучше, чем ошиваться по кинотеатрам с сомнительной публикой или тем более упражняться в антисоветской риторике. Впрочем, никаким художником-иллюстратором становиться я не собирался. Насмотревшись великого кино, я, конечно, хотел быть актером. До поры до времени я не спешил объявлять о своем намерении, заранее зная, что это только расстроит родителей. Для начала я поступил на актерские курсы все в том же Доме пионеров на Кутузовском, 26. После того как я выучил десяток скороговорок, меня даже утвердили на главную роль в какой-то советской пьесе про Васю Ванина или Ваню Васина. Но, походив на репетиции, я убедился, что не в состоянии запомнить даже нескольких реплик из этого текста. Память отказывала, руки-ноги не слушались,

все во мне болело и восставало против советской тюзовской драматургии. С курсов я позорно сбежал, так и не дотянув до премьеры.

Тем более что дома вдруг разом стало не до ролей. Серьезно заболел папа. Резкие подскоки температуры, вечером из носа кровь. Обследования ничего толком не показали. Мама обложилась коричневыми томами Большой медицинской энциклопедии и целыми днями пыталась сама установить диагноз. Все сходилось на опасном, но не смертельном “гепатите С”. Впрочем, легче от этого никому не стало. Когда энциклопедия перестала служить источником надежды, мама пошла к профессиональной гадалке, жившей где-то в районе Киевского вокзала. В подробности этого визита меня она не посвящала, но известно только, что тогда прозвучала обнадеживающая фраза: “Из больницы ты его заберёшь”. Папа действительно вернулся на Кутузовский, но ненадолго.

В его последнюю больницу на Пироговку мы ездили на 132-м автобусе. Это было сравнительно близко от нашего дома. Путь проходил через Плющиху и клуб “Каучук”, где в лучшие времена мы все втроем смотрели “Спартак” и “Такова спортивная жизнь”. Как большому начальнику, ему полагалась отдельная палата. На белую стену он прикрепил кнопками мой рисунок зимнего катка, где я изобразил их с мамой на коньках.

— А где тут ты? — поинтересовался он.

— Ты же знаешь, я не умею кататься.

— На следующий сезон мы купим тебе коньки.

На том и расстались. Потом была реанимация. И последние слова, которые он сказал маме на нелюбимом им немецком языке: “*Gott mit uns*”.

— Почему по-немецки? — допытывался я потом.

— Наверное, он стеснялся посторонних, находившихся рядом в боксе. Хотел, чтобы поняла только я.

— И что ты поняла?

— Что он умирает.

Все эти дни, как водится, я торчал в кино. В том числе в кинотеатре “Призыв”. Его уже давно нет на Кутузовском. Там сейчас Театр кошек Куклачева. Тогда на экраны вышел фильм Витторио де Сика “Подсолнухи” с Софией Лорен и Марчелло Мастоаянни. Фильм более чем средний, но тогда я умудрился посмотреть его раза три. Мне понравилась красивая и заунывная музыка Нино Рота. Но особенно — эпизод, где София стоит на перроне где-то, кажется, в Мытищах и пронзительно смотрит на Марчелло, идущего ей навстречу в замызганной кепочке. Потом, не выдержав его виноватых глаз, она вскакивает буквально на ходу в уходящую электричку и там уже выдает мастерскую истерику с криками и стонами, заполнив весь кадр своими слезами, разметанными волосами и запрокинутым, как у хищной птицы, острым профилем. “Ой, как женщина убивается”, — звучит сочувственный голос какой-то бабушки. София громко и отчаянно рыдает. Кто-то, кажется, протягивает ей воду. Слышится перестук колес. В окне электрички проплывают “необъятные просторы нашей Родины”. Какое это имело отношение к смерти моего отца — не знаю. Наверное, просто совпало по времени и настроению. Но знаю точно: каждый раз, когда я слышу музыку Нино Рота, во мне тоже что-то “убивается” безнадежно и навсегда.

Что было потом? Мама сдала в букинистический магазин многотомную Большую медицинскую энциклопедию. Потом продала его “Волгу”. Ей было важно, чтобы мы “сохранили уровень”. Для этого она уезжала в долгие и, как я теперь понимаю, совсем не безопасные зарубежные командировки переводчицей. Куба, Перу, Бразилия, Никарагуа, Мозамбик, Ангола. “Такие все дыры”, — уста-

ло говорила мама, но не жаловалась. Оттуда она возвращалась осунувшаяся, похудевшая, с чеками Внешпосылторга, которые бездумно тратила в “Березке”, скупая мне какие-то пальто, куртки, костюмы. Деньги довольно скоро кончались, и она уезжала снова. Больше всего ее пугало, что мы станем бедными и придется разменять Кутузовский. Но тут она ошиблась. Наша жизнь была не бедной и не богатой, а более или менее, как у всех. Некоторые из тех вещей, ни разу мною не надетые, по-прежнему висят в шкафу на Кутузовском. Квартира, конечно, давно требует ремонта. Но когда я завожу об этом речь, мама небрежно отмахивается.

— Только после меня.

И смеется.

2017